

Александр Серафимович

Политком

**Серафимович Александр
Политком**

Александр Серафимович СЕРАФИМОВИЧ ПОЛИТКОМ

Рассказ

Как из весенней земли густо и туго пробиваются молодые ростки, так из глубоко взрытого революционного чернозема дружно вырастают новые учреждения, люди, новые общественные строители и работники.

И не потому появляются, и живут, и крепнут, и развиваются, что новые учреждения вновь организуют сверху, новые должности вновь создают сверху, а потому, что в рабочей толще и в толще крестьянской бедноты произошел какой-то сдвиг, какие-то глубокие перемены, которые восприняли эти новые ростки и дали им почву.

Передо мной открытое юное лицо политического комиссара М-ской бригады. Чистый открытый лоб, волнистые светлые, назад, волосы, и молодость, смеющаяся, безудержная молодость брызжет из голубых, радостных глаз, из молодого рдеющего румянца, от всей крепкой фигуры, затянутой в шинель и перетянутой ремнями, от револьвера и сабли.

Коммунист - крепкий партийный работ-

ник из Петрограда. И, радостно смеясь лицом, всей своей фигурой, глазами, говорит:

- Ведь, знаете, даже смешно. Один ведь, в сущности, среди массы красноармейцев. Все вооружены, часто усталые, раздражены, а слушаются одного. Часто заберутся на подводы и едут. Подходишь и сгоняешь. Это необходимо. Все соскакивают и идут. Есть что-то, что заставляет их слушаться, помимо боязни: признание моей правоты, что правда на моей стороне. В этом сила политического комиссара. А все-таки красноармейскую массу надо держать, и крепко надо держать в руках. Тут уж не ротозейничай, слюни не распускай. Политком должен на такой недосыгаемой высоте стоять, и - твердость! ни малейшей уступки! Уступил - все пропало! И это не во внешних отношениях. Тут с ними и шутишь и балуешься, а как только к делу, политком для них - бог, на высоте. И чтоб ни одного пятнышка! Другой может устать, политком - нет. Другой захочет выпить, ну, душу хоть немного отвести, это же естественно, политком - нет. Другой поухаживает за женщиной, политком - нет. Другой должен поспать шесть-

семь часов в сутки, политком бодрствует двадцать четыре часа в сутки. И так и есть. И в этом сила. А в красноармейских массах - признание правоты всего этого. И от этого та глубокая почва, на которой вырастают побеги железной дисциплины.

Он на минутку примолк, все такой же юный, румяный, крепкий и все с такими же радостно смеющимися глазами от своей молодости, от переизбытка сил.

У меня больно зануло сердце.

"Убьют. Политком, как бог, без пятнышка, стало быть, всегда в первых рядах, а пулеметы косят".

- А иногда жуткие бывают минуты, - сказал он, глядя на меня и ласково смеясь милыми глазами, - жуткие, не забудешь. Звонят мне по телефону. "Вторая рота отказывается выступать на позицию". Видите ли, командный состав прежде подделывался под старших, под свое начальство, ну, а теперь под армейскую массу, боятся. Вот ротный, вероятно, под шумок и шепнул: "Товарищи, просите, чтоб соседнюю роту послали. А то все вы да вы. Небось заморились". Ну, рота обрадовалась и

уперлась. "Не пойдём, замучились, посылайте соседнюю роту". Ну, тут, знаете, одной секунды упустить нельзя. Беру трубку и говорю спокойным и отчетливым голосом: "Я иду в роту. Если к моему приходу рота не уйдет на позицию, то ротный будет расстрелян, взводные будут расстреляны, отделенные будут расстреляны", и положил трубку, не слушая никаких объяснений. Потом пошел в роту. Шаги делаю коротенькие, и кажется, будто бегу. С четверть версты идти, а мне кажется, будто я их пробежал. Вхожу - никого... Гляжу, из балки хвост роты подымается - на позицию пошли. Гора с плеч свалилась: если бы застал, расстрелял бы, как сказал, иначе нельзя. И вот это напряжение постоянно.

- Устали?

- Да нет, - заговорил он радостно, - чего уставать-то? Некогда уставать-то - день и ночь ведь.

Как молодой конь, выпущенный в раннее утро во весь повод, несся он, и ветер резал его, и травы и цветы ложились под ним, и пена ключьями неслась назад, а ему все мало, он все наддает, все прибавляет, и нет конца бегу.

Таким в работе, в строительстве армии, в строительстве дисциплины армии был этот юноша, с залитыми румянцем щеками.

Среди боевой тревоги, среди реющей смерти, бессонницы, напряжения, как непрерывно падающие капли, комиссар непрерывно внушает красноармейцам, за что они бьются, что было прежде и что теперь, и что грядет огромное м и р о в о е счастье человечества.

Маленький городишко, заброшенный и скучный - в снегах по самые окна. Сверху низкое иссера-снежное небо.

За крайними избами дымятся по пустынным степям метели.

А мы сидим в теплой низенькой мещанской комнатке. Печка столбиком посреди комнаты. На стенах деревянные фотографии с одинаковыми черными точечками в глазах. И, странно выделяясь, как музыкальный аккорд среди уличной шарманки, молча стоит пианино. Дочка-гимназистка играла. Вышла замуж, ну, и пианино не нужно.

Мы сидим за столом. Керосин на сегодня есть, и в комнате светло. На столике у стены то и дело цыплячьим голосом поет телефон.

Комиссар поминутно встает, отдает приказания, запрашивает, проверяет, цела ли цепь, и опять говорим, говорим, говорим.

Ведь я же свежий человек для него - о т т у д а , г д е о н так давно-давно не был, и принес кусочек того мира, той жизни. Приносят пакеты. Он посылает. Иногда на полуслове подымается и уходит. А когда приходит, папаха, шинель, лицо - все занесено обмерзлым снегом.

- Я - литвин, - говорит он, глядя на меня серо-голубыми глазами, мой отец крестьянин. Знаете, у нас народ такой неподатливый, упорный, идет своей дорогой, его не своротишь. Бедный народ, но твердый. Вот и у отца бедность тяжелая, но он молча и упорно пробивал жизнь железным трудом.

Я смотрю на него: белолицый, под ушами бачки. Молодой, а фигура железная, видно - крестьянский сын, но речь, но движения руки интеллигента.

- Я ведь художник. А как это вышло? Вот как. Рисовал я хорошо в школе; учитель говорит: "Тебе учиться надо". Я к отцу. А он сурово: "Мы мужики, жили в лесу да в поле, тут

нам и назначено, тут и делай вовсю свое дело". Но ведь я - литвин, и в отца пошел, и вырос в лесу и в поле. Отец сшил мне сапоги. Это было целое событие. Сапоги! Сапоги - вечно босоногому лесному мальчику. Я готов был их на руках носить. Но я их потихоньку отнес и незаметно поставил у отца под кровать. У отца вынул три рубля, оставил отцовский дом и пошел полуодетый, разутый, через леса и поля в неведомые города. Только я дал себе клятву, что это не будет воровство, а я из первого же заработка пришлю отцу. И еще дал клятву: как бы туго мне ни пришлось, хоть с голоду буду умирать, но отцу не буду писать, пока не стану на ноги. И клятву сдержал. Где и чем только я не был: и у сапожника учеником, и у парикмахера, и у слесаря, и у живописца. И всюду пил кровавую горькую чашу ученичества. Наконец я сколотил пять рублей, первые пять рублей, и послал отцу. Получил отец, железный старик, долго смотрел на эти пять рублей, и гордостью засветилось лицо. Не оттого засветилось оно, что сын, которого все считали уже мертвым, нашелся, а что пробился своими руками, пробился сын и

вырвал у матери-земли, такой суровой к детям полей и лесов, вырвал у нее первый заработок. "Живи, сын", - сказал отец. Это было его благословение.

В конце концов я попал в художественную школу в Риге. И вот тут-то стал из меня выковыриваться социалист сознательный. Несознательно, как и в отце, как и во всех нас, крестьянах, среди наших полей и лесов, жило постоянное чувство борьбы, чувство всегда готового вырваться отпора. На моих глазах великолепно жили бароны, учившиеся в школе; я нищенствовал. Они были бездарны, меня профессора и художники выделяли как даровитого. Я едва мог сколотить на плохие краски, на плохие кисти, полотно; у баронов было всего вдоволь, и все великолепное. Бароны презирали меня за нищету, я их - за бездарность. Вы понимаете, я не мог быть не кем иным, как большевиком. И я - литвин.

Он достал несколько своих альбомов. Великолепный, смелый, подчас оригинальный рисунок. И в каждом - свое внутреннее содержание.

Я долго и внимательно рассматриваю аль-

бом и говорю:

- Отчего вы сейчас не работаете? Ведь кругом море, бескрайное море типов, положений, событий, оттенков человеческих лиц. Ведь вы все это можете черпать безгранично рукой художника.

У него засветились возбужденные ласково-голубые глаза.

- Это было бы для меня такое счастье, такое счастье! Но ведь я... он опустил потемневшие глаза, - я... комиссар.

- Что же такого? Ведь не пьянствовать же вы будете, не в карты играть, а заносить на полотно то, что кругом совершается. Да ведь эти рисунки, эскизы, этюды драгоценностью будут. За них вам бесконечно будут благодарны и современники и потомство. Ведь сейчас и революционная и гражданская борьба проходит мимо молча. Это не то, что в буржуазную войну. Тогда на фронте тучи корреспондентов были, журналистов, бытописателей, беллетристов. Ведь тогда всё, как в огромном зеркале, отражали и перо писателя и кисть художника. А теперь мертвое молчание. Разве это справедливо? Вам судьба дала талант и

возможность закрепить на полотне все виденное, а вы упускаете время.

Он опять твердо сказал:

- Я - комиссар.

- Ну, так что же из того? Вам еще видней, больше народу перед вами проходит, больше всяких положений.

- Нет. У всех есть время, свободное от обязанностей, - у командного состава, у красноармейцев. Нет его только у политического комиссара, у политкома части. Все двадцать четыре часа он принадлежит не себе, а своей части. Конечно, я мог бы улучшить минутку каждый день, чтобы сделать зарисовку, набросок, этюд без ущерба для дела, но, вы понимаете, сейчас же подыметя кругом: политком только и знает, что рисует. Нет, я лишен этой возможности, этого счастья.

Мы заговорили о Репине.

Он так и вскинулся:

- Да ведь это же гениальный художник. Я учился у него.

Мы, забыв обо всем, заговорили о живописи, о судьбе художников, о будущем творчестве. Он весь горел, охваченный жаждою вы-

сказаться после долгого молчания в уфимских степях. Но поминутно подходил к телефону, который по-цыплячьи пищал; входили с пакетами; он, на полуслове отрываясь, отдавал приказания. И опять мы, как два заговорщика, в зимние сумерки в мещанском домике, занесенном по окна снегом, жадно говорили об искусстве и литературе, о человеческих судьбах, о судьбе России и Литвы.

Стояли и слушали молчаливое, на котором никогда не играют, пианино, печка, как белый столбик, посреди комнаты, мещанские портреты, одинаково напряженные, с одинаковыми черными точечками в глазах.

- Отчего вы не закончили вашего художественного образования?

- На войну взяли, война сожрала. Четыре года на войне да вот второй год в революционной борьбе. Пулеметным огнем ранен в обе ноги. Ноют, подлые. Сильно контужен был. И... и вам только, по секрету - устал. Но никто этого не видит, никто этого не должен знать. Комиссар не знает усталости, ни болезни, ни последствий ран. Он не знает необходимости отдыха, сна. Двадцать четыре часа на ногах,

готовый каждую минуту отдать приказание, или впереди цепи идти в атаку, или расстрелять ослушника, и чтоб ни на одну секунду не мелькнул в глазах меркнувший огонек усталости.

А сколько у него жадности жить жизнью художника, жизнью творческого созидания! Все задал в себе, все принес пролетариату, революционному крестьянству и сказал:

- Нате, берите меня всего, черпайте до конца, весь ваш!

Разумеется, несомненно, есть и комиссары, не отвечающие своему назначению, но я таких не встречал. Политком день и ночь на виду у тысячи глаз, и малейший промах, малейшая ошибка, пятно - и он летит с места или идет под расстрел.

Жива Красная Армия, и лучшее, что есть у пролетариата, у революционного крестьянства, у революционной интеллигенции, - все это идет на служение ей.

1918